



Семейная хроника

Сергей Аксаков

**Воспоминания**

«Public Domain»

1856

## **Аксаков С. Т.**

Воспоминания / С. Т. Аксаков — «Public Domain»,  
1856 — (Семейная хроника)

«В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскивали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся «Грузинскою». Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке, на тройке своих лошадей (повар и горничная приехали прежде нас); переезд с кормежки сделали большой, долго ездили по городу, расспрашивая о квартире, долго стояли по бестолковости деревенских лакеев, – и я помню, что озяб ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа как в лихорадке; еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя, ее Сереженька...»

# Содержание

Гимназия. Период первый	5
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# Сергей Тимофеевич Аксаков

## Воспоминания

### Гимназия. Период первый

В середине зимы 1799 года приехали мы в губернский город Казань. Мне было восемь лет. Морозы стояли трескучие, и хотя заранее были наняты для нас две комнаты в маленьком доме капитанши Аристовой, но мы не скоро отыскивали свою квартиру, которая, впрочем, находилась на хорошей улице, называющейся «Грузинскою». Мы приехали под вечер в простой рогожной повозке, на тройке своих лошадей (повар и горничная приехали прежде нас); переезд с кормежки сделали большой, долго ездили по городу, расспрашивая о квартире, долго стояли по бестолковости деревенских лакеев, – и я помню, что озяб ужасно, что квартира была холодна, что чай не согрел меня и что я лег спать, дрожа как в лихорадке; еще более помню, что страстно любившая меня мать также дрожала, но не от холода, а от страха, чтоб не простудилось ее любимое дитя, ее Сереженька. Прижавшись к материнскому сердцу и прикрытый сверх одеяла лисьим, атласным, еще приданым салопом, я согрелся, уснул и проснулся на другой день здоровым, к неописанной радости моей встревоженной матери. Сестра моя и брат, оба меня моложе, остались в Симбирской губернии, в богатом селе Чуфарове, у двоюродной тетки моего отца, от которой в будущем ожидали мы наследства<sup>1</sup>; но в настоящее время она не помогала моему отцу ни одной копейкой и заставляла его с семейством терпеть нередко нужду: даже займы не давала ни одного рубля. Не знаю, какие обстоятельства принудили моих родителей, при их стесненном положении в деньгах, приехать в губернский город Казань, но знаю, что это было сделано не для меня, хотя вся моя будущность определилась этой поездкой. Проснувшись на другой день, я был поражен движением на улице; до сих пор я ничего подобного не видывал. Впечатление было так сильно, что я не мог оторваться от окошка. Не удовлетворяясь ответами на мои расспросы приехавшей с нами женщины Параша, которая сама ничего не знала, я добился какой-то хозяйской девушки и мучил ее несколько часов сряду, задавая иногда такие вопросы, на которые она отвечать не умела. Отец и мать ездили в собор помолиться и еще куда-то, по своим делам, но меня с собою не брали, боясь жестоких крещенских морозов. Обедали они дома, но вечером опять уехали; утомленный новыми впечатлениями, я заснул ранее обыкновенного, болтая и слушая болтовню Параша; но только что разоспался, как ласковая рука той же Параша бережно меня разбудила. Мне сказали, что за мною прислали возок, что мне надобно встать и ехать в гости, где ожидали меня отец и мать. Меня одели в праздничное платье, умыли и причесали, закутали и посадили в возок вместе с тою же Парашей. Вырванный из крепкого ребячьего сна, испуганный таким происшествием, какого со мной никогда не бывало, застенчивый от природы, с замирающим сердцем, с предчувствием чего-то страшного, ехал я по опустевшим городским улицам. Наконец, мы приехали. Параша раздела меня в лакейской, повторила мне на ухо слова, несколько раз сказанные дорогой, чтоб я не робел, довела за руку до гостиной, лакей отворил дверь, и я вошел. Блеск свечей и громкие речи так меня смутили, что я остановился как вкопанный у двери. Первый увидел меня отец и сказал: «А вот и рекрут». Я смешался еще более. «Лоб!» – произнес чей-то громовой голос, и мужчина огромного роста поднялся с кресел и пошел ко мне. Я так перепугался, ибо понимал страшный смысл этого слова, что почти без памяти бросился бежать. Громкий хохот всех присутствующих остановил меня, но матери моей не понравилась эта шутка: материнское сердце

---

<sup>1</sup> ...от которой в будущем ожидали мы наследства. – Речь идет о Прасковье Ивановне Куролесовой (Надежде Ивановне Куредовой), о которой говорится в «Семейной хронике».

возмутилось испугом своего дитяти; она бросилась ко мне, обняла меня, ободрила словами и ласками, и, поплакав, я скоро успокоился. Теперь надобно рассказать, куда привезли меня: это был дом старинных друзей моего отца и матери, Максима Дмитрича и Елизаветы Алексеевны Княжевичей, которые прежде несколько лет жили в Уфе, где Максим Дмитрич служил губернским прокурором (вместе с моим отцом) и откуда он переехал, также прокурором, на службу в Казань. Максим Дмитрич еще в молодости выехал из Сербии. Он прямо поступил в кавалергарды, а потом был определен в Уфу прокурором Верхнего земского суда. Он мог назваться верным типом южного славянина и отличался радушием и гостеприимством; хотя его наружность и приемы, при огромном росте и резких чертах лица, сначала казались суровыми и строгими, но он имел предобрейшее сердце; жена его была русская дворянка Руднева; дом их в городе Казани отличался вполне славянской надписью над воротами: «Добрые люди, милости просим!»<sup>2</sup>

– Когда Княжевичи<sup>3</sup> жили в Уфе, то мы видались очень часто, и мы с сестрой играли вместе с их старшими сыновьями, Дмитрием и Александром, которые также были тут и которых я не скоро узнал; но когда мать все это мне напомнила и растолковала, то я вдруг закричал: «Ах, маменька, так это те Княжевичи, которые учили меня бить лбом грецкие орехи!» Восклицание мое возбудило общий смех. Робость прошла, и я сделался весел и вновь подружился с старыми приятелями: они были одеты в зеленые мундиры с красными воротниками, и я узнал, что они отданы в казанскую гимназию, куда через час их увезли. Это случилось в воскресенье; молодые Княжевичи были отпущены к родителям с утра до восьми часов вечера. Мне стало скучно, и, слушая разговоры моего отца и матери с хозяевами, я задремал, как вдруг долетели до детского моего слуха следующие слова, которые навели на меня ужас и далеко прогнали сон. «Да, мой любезный Тимофей Степаныч и почтенная Марья Николаевна, – говорил твердым и резким голосом Максим Дмитриевич, – примите мой дружеский совет, отдайте Сережу в гимназию<sup>4</sup>. Особенно советую я это потому, что он, кажется, матушкин сынок; она его избалует, разнежит и сделает бабой. Мальчика пора учить; в Уфе никаких учителей не было, кроме Матвея Васильича в народном училище, да и тот ничего не смыслил; а теперь вы переехали на житье в деревню, где и Матвея Васильича не достанешь». Мой отец безусловно соглашался с этим мнением, а мать, пораженная мыслию разлуки с своим сокровищем, побледнела и встревоженным голосом возражала, что я еще мал, слаб здоровьем (отчасти это была правда) и так привязан к ней, что она не может вдруг на это решиться. Я сидел, как говорится, ни жив ни мертв и уже ничего не слышал и не понимал, что говорили. Часов в десять поужинали, но ни я, ни мать моя не могли проглотить ни одного куска. Наконец, тот же возок, который привез меня, отвез нас опять на квартиру. Когда мы легли спать и я по обыкновению обнял и прижался к сердцу матери, то мы оба с нею принялись громко рыдать. Кроме слов, заглушаемых всхлипываньями: «Маменька, не отдавай меня в гимназию», я ничего сказать не мог. Мать также рыдала, и мы долго не давали спать моему отцу. Наконец, мать решила, что ни за что со мною не расстанется, – и к утру мы заснули.

Мы пробыли в Казани не долго. После я узнал, что мой отец и Княжевичи продолжали уговаривать мою мать отдать меня немедленно на казенное содержание в казанскую гимназию,

<sup>2</sup> Надпись по длине и крупноте букв не умещалась, а потому была написана следующим образом: «Д. Л. Милости просим». Читая буквы по-старинному, то есть «Добро Люди», получался почти тот же смысл, какой выражался бы в полной надписи.

<sup>3</sup> *Княжевичи*. – Княевич Максим Дмитриевич (1758–1813) – губернский прокурор в Уфе, позднее служил в казенной палате в Казани, выходец из Сербии. С. Т. Аксаков с детских лет был дружен с сыновьями М. Д. Княевича – Дмитрием (1788–1844), впоследствии литератором, членом Российской академии, попечителем Одесского учебного округа, и Александром (1792–1872), впоследствии министром финансов.

<sup>4</sup> *...отдайте Сережу в гимназию*. – Казанская гимназия была основана в 1758 г. и вскоре возымела репутацию хорошего учебного заведения. В 1788 г. гимназию закрыли по недостатку средств. Десять лет спустя она была вновь открыта и преобразована.

убеждая ее тем, что теперь есть ваканция, а впоследствии, может быть, ее не будет; но мать моя ни за что не согласилась и сказала решительно, что ей надобно по крайней мере год времени, чтобы совладеть с своим сердцем, чтобы самой привыкнуть и меня приучить к этой мысли. От меня все было скрыто, и я поверил, что этой страшной беды никогда со мною не случится.

Мы опять потащились на своих лошадях, сначала в Симбирскую губернию, где взяли сестру и брата, и потом пустились за Волгу, в Новое Аксаково, где оставалась новорожденная сестра Аннушка. Езда зимой на своих, по проселочным дорогам тогдашней Уфимской губернии, где, по целым десяткам верст, не встречалось иногда ни одной деревни, представляется мне теперь в таком ужасном виде; что сердце замирает от одного воспоминания. Проселочная дорога была не что иное, как след, проложенный несколькими санями по снежным сугробам, при малейшем ветерке совершенно заметаемый верхним снегом. По такой-то дороге надобно было тащиться гусем, часов семь сряду, потому что пряжки, или переезды, делались верст по тридцати пяти и более; да и кто мерил эти версты! Для этого надобно было подниматься с ночлега в полночь, будить разоспавшихся детей, укутывать шубами и укладывать в повозки. Скрип от полозьев по сухому снегу терзал мои чувствительные нервы, и первые сутки я всегда страдал желчной рвотой. Кормежки и ночевки в дымных избах вместе с поросятами, ягнятами и телятами, нечистота, вонь... не дай бог никому и во сне все это увидеть. Не говорю уже о буранах, от которых иногда надобно было останавливаться в какой-нибудь деревушке, ждать суток по двое, когда затихнет снежный ураган... Страшно вспомнить! Но мы приехали, наконец, в мое милое Аксаково, и все было забыто. Я начал опять вести свою блаженную жизнь подле моей матери; опять начал читать ей вслух мои любимые книжки: «Детское чтение для сердца и разума» и даже «Ипокрену, или Утехи любословия»<sup>5</sup>, конечно не в первый раз, но всегда с новым удовольствием; опять начал декламировать стихи из трагедии Сумарокова, в которых я особенно любил представлять вестников, для чего подпоясывался широким кушаком и втыкал под него, вместо меча, подоконную подставку; опять начал играть с моей сестрой, которую с младенчества любил горячо, и с маленьким братом, валяясь с ними на полу, устланному для теплоты в два ряда калмыцкими, белыми как снег кошмами; опять начал учить читать свою сестрицу: она училась сначала как-то тупо и лениво, да и я, разумеется, не умел приняться за это дело, хотя очень горячо им занимался. Я очень помню, что никак не мог растолковать моей шестилетней ученице, как складывать целые слова. Я приходил в отчаяние, садился на скамеечке в угол и принимался плакать. На вопрос же матери, о чем я плачу, я отвечал: «Сестрица ничего не понимает...» Опять начал я спать с своей кошкой, которая так ко мне была привязана, что ходила за мной везде, как собачонка; опять принялся ловить птичек силками, крыть их лучком и сажать в небольшую горницу, превращенную таким образом в обширный садок; опять начал любоваться своими голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали без меня в подпечках по разным дворовым избам; опять начал смотреть, как охотники травят сорок и голубей и кормят ястребов, пущенных в зиму. Недоставало дня, чтобы насладиться всеми этими благами! Зима прошла, и наступила весна; все зазеленело и расцвело, открылось множество новых живейших наслаждений: светлые воды реки, мельница, пруд, грачовая роща и остров, окруженный со всех сторон старым и новым Бугурусланом, обсаженный тенистыми липами и березами, куда бегал я по несколько раз в день, сам не зная зачем; я стоял там неподвижно, как очарованный, с сильно бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием... Всего же сильнее увлекала меня удочка, и я, под надзором дядьки моего Ефрема Евсеича, с самозабвением предавался охоте удить рыбу, которой много водилось в прозрачном и омутистом Бугуруслане, протекавшем под самыми окнами деревенской спальни, прирубленной сбоку к старому дому покойным дедушкой для того, чтобы у его невестки была отдельная

<sup>5</sup> «Ипокрена, или Утехи любословия» – журнал, выходивший в 1799–1801 гг. в Москве под ред. профессора Московского университета П. А. Сохацкого.

своя горница. Под самым окном, наклонясь над водой, росла развесистая береза; один толстый ее сучок выгибался у ствола, как кресло, и я особенно любил сидеть на нем с сестрой... Теперь воды Бугуруслана подмыли корни березы, она состарилась преждевременно и свалилась набок, но все еще живет и зеленеет. Новый хозяин посадил подле нее новое дерево...

О, где ты, волшебный мир, Шехеразада человеческой жизни, с которым часто так неблагосклонно, грубо обходятся взрослые люди, разрушая его очарование насмешками и преждевременными речами! Ты, золотое время детского счастья, память которого так сладко и грустно волнует душу старика! Счастлив тот, кто имел его, кому есть что вспомнить! У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и в зрелом возрасте остается только память холодно-сти и даже жестокости людей.

Лето провел я в таком же детском упоении и ничего не подозревал, но осенью, когда я стал больше сидеть дома, больше слушать и больше смотреть на мою мать, то стал замечать в ней какую-то перемену: прекрасные глаза ее устремлялись иногда на меня с особенным выражением тайной грусти; я подглядел даже слезы, старательно от меня скрываемые. Встревоженный и огорченный, со всеми ласками горячей любви я приставал с расспросами к моей матери. Сначала она уверяла меня, что это так, что это ничего не значит; но скоро в ее разговорах со мной я начал слышать, как сокрушается она о том, что мне не у кого учиться, как необходимо ученье мальчику; что она лучше желает умереть, нежели видеть детей своих вырастающих невеждами; что мужчине надобно служить, а для службы необходимо учиться... Сердце сжалось у меня в груди, я понял, к чему клонится речь, понял, что беда не прошла, а пришла и что мне не уйти от казанской гимназии. Мать подтвердила мою догадку, и сказала, что она решилась; а я знал, что ее решения тверды. Несколько дней я только плакал и ничего не слушал, и как будто не понимал, что говорила мне мать. Наконец, ее слезы, ее просьбы, ее разумные убеждения, сопровождаемые нежнейшими ласками, горячность ее желания видеть во мне образованного человека были поняты моей детской головой, и с растерзанным сердцем я покорился ожидающей меня участи. Все мои деревенские удовольствия вдруг потеряли свою прелесть, ни к чему меня не тянуло, все смотрело чужим, все опостылело, и только любовь к матери выросла в таких размерах, которые пугали ее. Меня стали готовить к школьному ученью. Для своего возраста я читал как нельзя лучше, но писал по-детски. Отец еще прежде хотел мне передать всю свою ученость в математике, то есть первые четыре арифметические правила, но я так непонятливо и лениво учился, что он бросил ученье. Тут все переменялось: в два месяца я выучил эти четыре правила, которые только одни из всей математики и теперь не позабыты мной; в остальное время до отъезда в Казань отец только повторял со мной зады; в списывании прописей я достиг также возможного совершенства. Все это я делал на глазах у своей матери и единственно для нее. Она сказала мне, что сторит со стыда, если меня не похвалят на экзамене, который надобно было выдержать именно в этих предметах при вступлении в гимназию, что она уверена в моих отличных успехах, – этого было довольно. Я не отходил от матери ни на шаг. Напрасно посылала она меня погулять или посмотреть на голубей и ястребов. Я никуда не ходил и всегда отвечал одно: «Мне не хочется, маменька». С намерением приучить меня к мысли о разлуке мать беспрестанно говорила со мной о гимназии, об ученье, непременно хотела впоследствии отвезти меня в Москву и отдать в университетский благородный пансион, куда некогда определила она, будучи еще семнадцатилетней девушкой, прямо из Уфы, своих братьев. Ум мой был развернут не по летам: я много прочел книг для себя и еще более прочел их вслух для моей матери; разумеется, книги были старше моего возраста. Надобно к этому прибавить, что все мое общество составляла мать, а известно, как общество взрослых развивает детей. Итак, она могла говорить со мной о преимуществах образованного человека перед невеждой, и я мог понимать ее. Будучи необыкновенно умна, владея редким даром слова и страстным, увлекательным выражением мысли, она безгранично владела всем моим существом и вдохнула в меня такую бодрость, такое рвение скорее исполнить ее

пламенное желание, оправдать ее надежды, что я, наконец, с нетерпением ожидал отъезда в Казань. Мать моя казалась бодрою и веселою; но чего стоили ей эти усилия! Она худела и желтела с каждым днем, никогда не плакала и только более обыкновенного молилась богу, запершись в своей комнате. Вот где было настоящее торжество безграничной, бескорыстной, полной самоотвержения материнской любви! Вот где доказала мне мать любовь свою! Я был прежде больной ребенок, и она некогда проводила целые годы безотлучно у моей детской кровати; никто не знал, когда она спала; ничья рука, кроме ее, ко мне не прикасалась. Впоследствии она перешла весною в ростополь, страшную, посиневшую реку Каму, уже ни для кого не проходимую, ежеминутно готовую взломать свои льды, – узнав, что тоска меня одолела и что я лежу в больнице... Но это ничего не значит в сравнении с решимостью отдать в гимназию свое ненаглядное, слабое, изнеженное, буквально обожаемое дитя, по девятому году, на казенное содержание, за четыреста верст, потому что не было других средств доставить ему образование.

Пришла опять зима, и в декабре мы отправились в Казань. Чтобы не так было грустно матери моей возвращаться домой, по настоянию отца взяли с собой мою любимую старшую сестрицу; брата и меньшую сестру оставили в Аксакове с тетушкой Евгенией Степановной. В Казани мы остановились на прошлогодней квартире, у капитанши Аристовой. С Максимом Дмитричем Княжевичем, мы переписывались из деревни; заранее знали, что есть казенная вакансия в гимназии, и заранее приготовили все бумаги, нужные для моего определения. Итак, недели через две, познакомясь предварительно через Княжевича со всеми лицами, с которыми надобно было иметь дело, и помолясь усердно богу, отец мой подал просьбу директору Пекену.

Совет гимназии предложил главному надзирателю (он же был инспектором) Николаю Ивановичу Камашеву проэкзаменовать меня, а доктору Бенису освидетельствовать в медицинском отношении. Камашев находился в отпуску; должность главного надзирателя исправлял надзиратель «благодравной» комнаты Василий Петрович Упадышевский, а должность инспектора классов – старший учитель российской словесности Лев Семеныч Левицкий<sup>6</sup>. Оба были добрые и ласковые люди, а Упадышевский впоследствии сделался истинным ангелом хранителем моим и моей матери; я не знаю, что было бы с нами без этого благодетельного старика. Поехав подавать просьбу директору, отец взял меня с собою, и директор приласкал меня. Левицкий был нездоров и не мог приехать в совет гимназии, и потому отец повез меня к нему на квартиру. Лев Семеныч был любезный, веселый, краснощекий толстяк уже с порядочным брюшком, несмотря на свою молодость. Он очаровал своим приемом обоих нас: начал с того, что разласкал и расцеловал меня, дал мне читать прозу Карамзина и стихи Дмитриева – и пришел в восхищение, находя, что я читаю с чувством и пониманием; заставил меня что-то написать – и опять пришел в восхищение; в четырех правилах арифметики я также отличился; но Левицкий, как настоящий словесник, тут же отозвался о математике с пренебрежением. По окончании экзамена он принялся меня хвалить беспощадно; удивлялся, что мальчик моих лет, живя в деревне, мог быть так хорошо приготовлен. «Да кто же был его учителем в каллиграфии? – добродушно смеясь, спросил Лев Семеныч у моего отца, – ваш собственный почерк не очень красив?» Отец мой, обрадованный и растроганный почти до слез похвалами своему сыну, простодушно отвечал, что я достиг до всего своими трудами под руководством матери, с которою был почти неразлучен, и что он только выучил меня арифметике. Он прибавил к этому, что моя мать жила всегда в губернском городе, что мы недавно переехали в деревню, что она дочь бывшего значительного чиновника и большая охотница до книг и до стихов. «А, теперь я понимаю, – воскликнул Левицкий, – отчего печать благодравия и даже изящества лежит на вашем милом сыне – это плод женского воспитания, плод трудов образованной

<sup>6</sup> *Левицкий Лев Семенович* (1772–1807) – воспитанник Рязанской духовной семинарии, затем – Московской для разночинцев гимназии и, наконец, Московского университета; с 1799 г. преподавал в Казанской гимназии «логику и нравоучение», а с 1805 г. – адъюнкт умозрительной и практической философии Казанского университета.

матери». Мы уехали, очарованные им. Доктор Бенис, который имел прекрасный дом на Лядской улице, принял нас очень учтиво и без всякого затруднения дал свидетельство о моем здоровье и крепком телосложении. Воротясь домой, я заметил, что мать моя много плакала, хотя глаза ее были такого свойства, что слезы не мутили их ясности и никакого следа не оставляли. Отец мой с жаром рассказал все случившееся с нами. Мать устремила на меня взгляд, выражения которого я не забуду, если проживу еще сто лет. Она обняла меня и сказала: «Ты мое счастье, ты моя гордость». Чего мне было больше? И я по-своему был счастлив, горд и бодр.

Мать моя сделала визит жене доктора Бениса и познакомилась с ним самим. Молодости, красоте, уму и слезам моей матери трудно было отказать в сочувствии; доктор и докторша полюбили ее, и доктор дал ей обещание, что в случае малейшего моего нездоровья будут мне оказаны все медицинские пособия. Обещание страшное, по моим теперешним понятиям: я боюсь излишества медицинских пособий; но тогда оно несколько успокоило мою бедную мать. – Василий Петрович Упадышевский был вдовец, и двое его сыновей находились в числе казенных воспитанников казанской гимназии. Отец мой познакомился с ним и пригласил его к нам на квартиру. Этот добрый старик был так обласкан моею матерью, так оценил ее горячность к сыну и так полюбил ее, что в первое же свидание дал честное слово: во-первых, через неделю перевести меня в свою благонравную комнату – ибо прямо поместить туда неизвестного мальчика показалось бы для всех явным пристрастием – и, во-вторых, смотреть за мной более, чем за своими повесами, то есть своими родными сыновьями. Он свято исполнил и то и другое. Как теперь гляжу на его добродушное и приветливое лицо, на его правую руку, подвязанную черной широкой лентой, потому что кисть руки была оторвана взрывом пушки и вместо нее привязывалась к руке черная перчатка, набитая хлопчатой бумагой; впрочем, он очень четко и хорошо писал левою рукою.

Наконец, все формальности были выполнены, и состоялось определение совета принять меня в гимназию на казенное содержание; даже сняли с меня мерку и сшили форменное платье. Напряженное состояние духа, в котором находилась мать моя и я сам, не ослабевало. Поехали в собор, отслужили молебны Гурию, Варсонофию и Герману, казанским чудотворцам; прямо оттуда отец с матерью отвезли меня в гимназию и отдали с рук на руки Упадышевскому; дядька мой, Ефрем Евсеич, также поступил туда в должность комнатного служителя. Прощанье, разумеется, сопровождалось слезами, благословениями и наставлениями, но ничего особенного не случилось. Меня отвезли поутру в десять часов: классы только что переменялись,<sup>7</sup> и все ученики находились в классных комнатах наверху. Спальные внизу были пусты, и мать моя могла осмотреть их, даже видеть ту кровать, на которой я буду спать, казалось, она всем осталась довольна. Как только уехали мои родители, Упадышевский взял меня за руку, отвел в класс чистописания, представил учителю, рекомендовал как самого благонравного мальчика и просил особенно мной заняться. Меня посадили за отдельный стол, вместе с новенькими, и заставили выписывать палочки. Я был так поражен, что находился точно в каком-то забытьи; все казалось мне сном, но страха и тоски я не чувствовал. После обеда, которого я не заметил, надели на меня форменную мундирную куртку, повязали суконный галстук, остригли волосы под гребенку, поставили во фронт по ранжиру, по два человека в ряд, подле ученика Владимира Граффа, и сейчас выучили ходить в ногу. Я все исполнял, как говорится, машинально: точно дело шло не обо мне. По окончании классов Упадышевский встретил меня у дверей и, сказав: «Матушка тебя дожидается», отвел меня в приемную залу. Отец с матерью были там; отец, увидя меня, рассмеялся и сказал: «Вот как перерядили Сережу». А мать, которая в первую минуту меня не узнала, всплеснула руками, ахнула и упала без чувств. Я закричал, как

<sup>7</sup> Утренние классы зимой начинались в восемь часов; в десять переменялись учителя; в двенадцать классы оканчивались; в половине первого обедали; летом же классы начинались в семь часов, оканчивались в одиннадцать; обедали ровно в двенадцать, после обеда учение всегда начиналось в два и оканчивалось в шесть часов; ужинали в восемь, ложились спать в девять, вставали в пять часов летом и в шесть зимою.

иступленный, и также упал у ее ног. Упадышевский, смотревший в непритворенную дверь, перепугался и прибежал на помощь. Обморок моей матери продолжался около получаса, напугал моего отца и так встревожил бедного Упадышевского, что он призвал из больницы жившего там подлекаря Риттера, который давал матери моей какое-то лекарство и даже мне что-то дал выпить. Когда мать опомнилась, то сделалась очень слаба, и добрый Упадышевский сам предложил отпустить меня ночевать домой. «Так и быть, – говорил он, – пусть прогневется на меня Николай Иваныч (главный надзиратель), когда, воротясь, узнает об этом; правда, он ни за что бы не позволил, но я уж беру все на свою ответственность, только, пожалуйста, привезите его завтра к семи часам, прямо к завтраку». Мы не находили слов благодарить доброго человека и отправились на квартиру. Дома мать одумалась, ободрилась и меня ободрила. Она заставила себя спокойно смотреть на мою, почти выбритую голову, где рука ее напрасно искала мягких, белокурых кудрей моих, на суконный галстук, который уже успел натереть мою нежную шею, никогда еще не носившую и шелкового платка. Во всем находила она разумную потребность, которой должно было покориться. Взаимная наша твердость духа и решимость с новою силою овладели нами. На другой день в семь часов я был уже в гимназии. Мать приезжала ко мне всякий день два раза, в двенадцать часов перед обедом, всего на полчаса, и в шесть часов вечера, и тогда я мог оставаться с ней часа полтора. При свиданьях со мною она казалась спокойною и даже веселою; но по печальному лицу моего отца я отгадывал, что дома без меня происходило совсем другое. Через несколько дней отец мой убедился, что дела так продолжаться не могут и что эти беспрестанные свиданья и прощанья – только одно бесполезное мученье; он призвал на совет Княжевича, и они вместе решили увезти немедленно мою мать в деревню. Решить было легко, да исполнить трудно: отец мой знал это очень хорошо; но, сверх его ожидания и к большому удовольствию, мать моя скоро уступила общим просьбам и убеждениям. Слова доктора Бениса, принявшего в этом деле участие, без сомнения, имели большой вес. Он уверял, что частые свиданья, раздражая мои слабые нервы, вредны моему здоровью и что я никогда или очень долго не привыкну к новой моей жизни, если мать моя не уедет. Даже добрейший Упадышевский упрасивал о том же, утверждая, что в таком положении я не могу хорошо учиться и что учителя получают обо мне дурное мнение... и мать моя согласилась уехать на другой же день. Удивляюсь только одному, как она могла решиться обмануть меня? Она сказала мне перед обедом, что завтра или послезавтра уезжает и что мы еще увидимся два раза; сказала также, что вечер проведет у Княжевичей и потому ко мне не приедет. Уехать тихонько, не простясь со мной, – это была несчастная мысль, поддержанная Бенисом и Упадышевским. Разумеется, хотели пощадить нас обоих, и особенно меня, от последнего прощанья, но расчет оказался неверен. Я и теперь убежден, что эта благонамеренная хитрость произвела много печальных последствий.

В первый раз случилось, что мать не приехала ко мне вечером, и хотя я был предупрежден ею, но тоска и предчувствие неизвестной беды томили мое сердце. Ночь спал я дурно. На другой день поутру, когда я стал одеваться, дядька мой Евсеич подал мне записку: мать просталась со мной; она писала, что если я люблю ее и хочу, чтоб она была жива и спокойна, то не буду грустить и стану прилежно учиться. Она уехала накануне в восемь часов вечера. Ясно помню я эту минуту, но описать ее не умею: что-то болезненное пронзило мою грудь, сжало ее ихватило дыхание; через минуту началось страшное биение сердца. Полуодетый, я сел на кровать и с безумным отчаянием глядел на всех, ничего не слушая и ничего не понимая. Упадышевский, который дня за два перевел меня в свою благонравную комнату и который знал об отъезде матери моей, следовательно понимал причину моего состояния, – не велел меня трогать, увел поскорее воспитанников наверх, поручил их одному из надзирателей и прибежал ко мне: я сидел на кровати в том же положении; Евсеич стоял передо мною и плакал. Что ни говорил Упадышевский, я не слышал и молчал. Я не мог сообразить никакой мысли, и глаза у меня были, как мне после сказали, дикие и неподвижные. Меня отвели в больницу; я и там сел

бессознательно на кровать и сидел так же молча и глядел так же дико. Через час приехал Бенис; он осмотрел меня по-докторски, покачал головой и сказал что-то по-французски; после я узнал от других, что он сказал: «Pauvre enfant».<sup>8</sup> Мне дали проглотить отвратительное лекарство, раздели, положили в постель и принялись тереть суконками. Скоро сильный озноб и дрожь привели меня в память. Я громко закричал: «Маменька уехала!..» – и ручьи задержанных слез хлынули из моих глаз. Бенис, видимо, обрадовался, сел подле меня и начал говорить об отъезде моей матери, о необходимости этого отъезда для ее здоровья, о вредных следствиях прощанья и о том, как должен вести себя умный мальчик в подобных обстоятельствах, любящий свою мать и желающий ее успокоить... Его слова были вдохновением свыше, потому что доктор, будучи весьма почтенным человеком, не отличался нежностью и мягкостью характера; слезы мои потекли еще сильнее, но мне стало легче. Бенис уехал. Я рыдал еще часа два и, наконец, заснул от утомления, и благотворный сон подкрепил мой слабый организм. Упадышевский приходил ко мне несколько раз; даже принес мне для развлечения «Детское училище»<sup>9</sup>, которого я еще не видывал. Упадышевский знал, что я был страстный охотник читать; но мне было тогда еще не до чтения. Я попросил позволения писать и писал к отцу и к матери весь день и весь вечер, и почти беспрестанно плакал. Ночь я спал беспокойно и много грезил, к чему я всегда был склонен. Евсеич не отходил от меня. На другой день поутру Бенис нашел мое здоровье в лучшем положении, выписал из больницы, потому что считал вредным для меня, в нравственном отношении, и бездействие и пребывание между больными, и велел заниматься слегка ученьем. Упадышевский опять сам отвел меня в учебные комнаты, и я попал опять в тот же класс чистописания и потом в класс к священнику. Два часа слушал я, как сказывали мои товарищи свои уроки из катехизиса и священной истории, как священник задавал новый урок и что-то много толковал и объяснял; но я не только в этот раз, но и во все время пребывания моего в гимназии не понимал его толкований. Своих уроков на этот раз я не знал. Священник был предупрежден о моем болезненном состоянии, и хотя он был человек весьма не снисходительный и строгий, но ограничился одним выговором и велел приготовить уроки к следующему разу. После обеда, чтоб я не оставался праздным и не предавался грустным мыслям, Упадышевский поручил одному из старших воспитанников, Илье Жеванову, хорошо рисовавшему, занять меня рисованием, к чему в детстве я имел большую склонность. Я сам слышал, как этот добрейший старик просил Жеванова сделать ему большое одолжение, которого он никогда не забудет, – заняться рисованьем с бедным мальчиком, который очень тоскует по матери, – и Жеванов занимался со мной; но ученье не только в этот раз, но и впоследствии не пошло мне впрок; рисованье кружков, бровей, носов, глаз и губ навсегда отвратило меня от рисованья. После же вечерних классов все тот же благодетельный гений мой, Василий Петрович Упадышевский, заставил меня твердить уроки возле себя и, видя, что я сам не понимаю, что твержу, начинал со мною разговаривать о моей деревенской жизни, об моем отце и матери и даже позволял немного поплакать. Я не знаю, как пошла бы моя жизнь дальше; но тут внезапно все переменялось; на третий день, во время обеда, Евсеич подал мне записочку от матери, которая писала ко мне, что она стосковалась, не простившись со мною как следует, и что она, отъехав девяносто верст, воротилась назад, чтоб еще раз взглянуть на меня хотя одну минуту. Я никак не могу объяснить себе, отчего в первую минуту я не почувствовал той великой радости, которую, казалось бы, должно было мне почувствовать? Я будто испугался, будто не поверил, будто грезил во сне... Упадышевский также получил записку: мать просила отпустить меня с шести до девяти часов вечера, а если нельзя, то хотела приехать сама; к этому прибавляла она, что пробудет в Казани только до утра. Упадышевский приказал мне написать,

<sup>8</sup> Бедное дитя (*франц.*).

<sup>9</sup> «Детское училище» – «Новое детское училище, или Опыт нравственного воспитания обоого пола и всякого состояния юношества, содержащий препознейшие наставления к образованию разума и сердца и совершенному нравственному воспитанию, представленные в изящнейших письмах», соч. Жанлис, перев. с франц. в 3-х томах, СПб. 1792.

чтобы Марья Николаевна не беспокоилась и сама не приезжала, что он отпустит меня с дядькой, может быть, ранее шести часов, потому что на последние часы учитель, по болезни, вероятно не придет, и что я могу остаться у ней до семи часов утра. Я писал эти слова и решительно думал, что вижу сон. Евсеич побежал с моим письмом. Часа через полтора он воротился с такой радостной запиской, с такой горячей благодарностью Упадышевскому, что старик прослезился, прочитав письмо мое матери. Евсеич рассказал нам, что барыня воротилась одна из села Алексеевского, в девяност верстах от Казани по почтовому тракту, что барин остался там с барышней, которая нездорова, и что мать моя прискакала на почтовых, в легкой ямской повозке, с одной горничной и одним человеком. Я как будто начал приходить в себя, начал верить своему благополучию и вскоре так поверил, что последний час ожидания был для меня невыносимой пыткой. Учитель точно уведомил, что не будет, – и в четыре часа и пять минут я сел с моим дядькой в извозчицьи сани, уже не помня себя от неописанной радости. Мать моя остановилась, у кого не помню, на Проломной улице, только это был не постоянный двор. Вбежав в комнату, я издали увидел, что мать моя, бледная и худая, сидит в теплом салопе, у затопленного камина, потому что комната была очень холодна. Эта минута свидания была такова, что невозможно дать о ней понятия! Подобного чувства счастья я не испытывал уже во всю мою жизнь. Несколько минут мы ничего не говорили, только плакали и радовались. Но это продолжалось недолго. Скоро мысль о близкой разлуке отогнала все другие мысли и чувства и болезненно сжала мое сердце. С горькими слезами рассказал я матери все происходившее со мной со времени внезапного ее отъезда. Я испугался, какое действие произвел мой рассказ! Как обвиняла себя и как раскаивалась бедная мать моя, что согласилась обмануть меня и уехать, не простясь! Потом она рассказала мне про себя; она не помнила, как выехала из Казани, потому что ей сделалось дурно, когда ее усадили в повозку. По мере удаления от города с каждым часом становилось ей тошнее; скоро овладела ею мысль воротиться назад, но убеждения отца и собственный рассудок удерживали на некоторое время стремление материнской любви. Наконец, она была не в состоянии противиться своим чувствам и воротилась одна, потому что побоялась растрясти мою сестру, и без того нездоровую. Мой отец и сестра должны были дожидаться ее в Алексеевском; для сестры моей даже нужен был отдых. Целый вечер и большую половину ночи провели мы в разговорах и слезах; но как всему есть мера, то и мы, можно сказать, пресытились слезами и заснули. Я помню, что несколько раз вздрагивал во сне и начинал рыдать, но мать обнимала меня, клала мою голову к себе на грудь, и я снова засыпал. В шесть часов нас разбудили. Мы были спокойнее и бодрее. Мать дала мне обещание, что по первому летнему пути она приедет в Казань и проживет до окончания экзаменов, а после гимназического акта, который всегда бывал в первых числах июля, увезет меня на вакацию в деревню, где я проживу до половины августа. Отрадное чувство наполнило мое сердце; мы простились довольно спокойно. В семь часов мать моя села в свою ямскую кибитку, а я с Евсеичем в извозчицьи сани, и мы в одно время съехали со двора: повозка поехала направо к заставе, а я налево в гимназию; скоро мы свернули с улицы в переулок, и кибитка исчезла из моих глаз. Сердце у меня оторвалось, как говорится, грусть залегла в душе; но голова не была смущена, я понимал ясно, что вокруг меня происходило и что ожидает впереди. Огромное белое здание гимназии, с ярко-зеленой крышей и куполом, стоящее на горе, сейчас бросилось мне в глаза и поразило меня, как будто я его никогда не видывал. Оно показалось мне страшным, очарованным замком (о которых я читывал в книжках), тюрьмой, где я буду колодником. Огромная дверь на высоком крыльце между колоннами, которую распахнул старый инвалид и которая, казалось, проглотила меня; две широкие и высокие лестницы, ведущие во второй и третий этаж из сеней, освещаемые верхним куполом; крик и гул смешанных голосов, встретивший меня издали, вылетающий из всех классов, потому что учителя еще не пришли, – все это я увидел, услышал и понял в первый раз. Несмотря на то, что я жил в гимназии уже более недели – я не замечал ее. Только теперь почувствовал я себя казенным воспитан-

ником казенного учебного заведения. Целый день я удивлялся всему, как будто новому, невиданному, и боже мой! как все показалось мне противно! Вставанье по звонку, задолго до света, при потухших и потухающих ночниках и сальных свечах, наполнявших воздух нестерпимой вонью; холод в комнатах,<sup>10</sup> отчего вставать еще неприятнее бедному дитяти, кое-как согревшемуся под байковым одеялом; общественное умыванье из медных рукомойников, около которых всегда бывает ссора и драка; ходьба фрунтом на молитву, к завтраку, в классы, к обеду и т. д.; завтрак, который состоял в скоромные дни из стакана молока пополам с водой и булки, а в постные дни – из стакана сбитня с булкой; в таком же роде обед из трех блюд и ужин из двух... Чем все это должно было казаться изнеженному, избалованному мальчику, которого мать воспитывала с роскошью, как будто от большого состояния? Но всего более приводили меня в отчаяние товарищи: старшие возрастом и ученики средних классов не обращали на меня внимания, а мальчики одних лет со мною и даже моложе, находившиеся в низшем классе, по большей части были нестерпимые шалуны и озорники; с остальными я имел так мало сходного, общего в наших понятиях, интересах и нравах, что не мог с ними сблизиться и посреди многочисленного общества оставался уединенным. Все были здоровы, довольны и нестерпимо веселы, так что я не встречал ни одного сколько-нибудь печального или задумчивого мальчика, который мог бы принять участие в моей постоянной грусти. Я смело бросился бы к нему на шею и поделился бы моим внутренним состоянием. «Что это за чудо, – думал я, – верно, у этих детей нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, ни дому, ни саду в деревне», и начинал сожалеть о них. Но скоро удостоверился, что почти у всех были отцы, и матери, и семейства, а у иных и дома и сады в деревне, но только недоставало того чувства горячей привязанности к семейству и дому, которым было преисполнено мое сердце. Само собою разумеется, что я как *нелюдим*, как *неженка*, *недотрога*, как *матушкин сынок*, который все *хнычет по маменьке*, – сейчас сделался предметом насмешек своих товарищей; от этого не могли оградить меня ни власть, ни нравственное влияние Василия Петровича Упадышевского, который не переставал и днем и ночью наблюдать за мной. Он сам запретил мне жаловаться на обиды товарищей, хорошо зная, как ненавидят в училищах ябедников, клеймя этим именем всякого, кто пожалуется начальству на оскорбление товарищей. Он поставил мою кровать между кроватями Кондырева и Мореева, которые были гораздо старше меня и оба считались самыми степенными и в то же время неуступчивыми учениками; он поручил меня под их защиту, и по их милости никто из шалунов не смел подходить к моей постели. Надобно заметить, что тогда не было у нас рекреационных зал и что казенные воспитанники и пансионеры все время, свободное от ученья, проводили в спальнях.

С самых первых дней, после окончательной разлуки с матерью, я принялся с жаром за ученье. Я упросил моих учителей (все через Упадышевского), чтобы мне задавали не по одному, а по два и по три урока, для того чтобы догнать старших учеников и не сидеть на одной лавке с новенькими. Способность понимания и память были у меня сильно развиты; через месяц я не только перегнал и оставил позади новеньких, но во всех классах сел за первый стол вместе с лучшими воспитанниками. Это обстоятельство усилило нерасположение ко мне и тех, которых я обогнал, и тех, с которыми я сравнился.

В самое это время воротился к своей должности главный надзиратель Николай Иваныч Камашев. Не знаю, по справедливости ли считался он очень умным человеком, но то верно, что он был человек холодный, твердый, говоривший всегда тихо и с улыбкой и действовавший с непреклонною волею. Все без исключения боялись его гораздо больше, чем директора. Он любил власть, умел приобрести ее и пользовался ею с педантическою точностью. – Упадышевский отгадал, что Николай Иваныч на него прогневадается; он сейчас узнал все отступления от

<sup>10</sup> В спальнях держали двенадцать градусов тепла, что, кажется, и теперь соблюдается во всех казенных учебных заведениях и что, по-моему, решительно вредно для здоровья детей. Нужно не менее четырнадцати градусов.

устава гимназии, которые сделал для меня и для моей матери исправлявший его должность надзиратель, то есть: несвоевременное свидание с родителями, тогда как для того были назначены известные дни и часы, незаконные отпуска домой и особенно отпуска на ночь. Главный надзиратель задал такую гонку моему благодетелю, что старик долго ходил задумавшись. Камашев сказал ему с тихой улыбкою: «что если что-нибудь подобное случится еще один раз, то он попросит почтеннейшего Василья Петровича оставить службу при гимназии». Я горько плакал, узнав об этом, и получил непреодолимое отвращение и ужас даже к имени главного надзирателя – и не даром: он невзлюбил меня без всякой причины, сделался моим гонителем, и впоследствии много пролила от него слез моя бедная мать. Дня через три после своего возвращения Камашев вызвал меня из фронта на середину залы и сказал мне довольно длинное поучение на следующую тему: что дурно быть избалованным мальчиком, что очень нехорошо пользоваться пристрастным снисхождением начальства и не быть благодарным правительству, которое великодушно взяло на себя немаловажные издержки для моего образования. – Хотя я был кроткий и добрый мальчик, но впечатлительный и вспылчивый от природы. Я стоял, потупив глаза, и неизвестное мне до тех пор чувство незаслуженного оскорбления и гнева волновало мою грудь. «Что вы не смотрите на меня? – вдруг сказал Камашев. – Это недобрый знак, если мальчик прячет свои глаза и не смеет или не хочет смотреть прямо на своего начальника... Смотрите на меня!» – произнес он строго и возвыся голос. Я поднял глаза, и, видно, в них так много выразалось внутреннего чувства оскорбленной детской гордости, что Камашев отвернулся и сказал, уходя, Упадышевскому: «Он совсем не так смирен и добр, как вы говорите». После я узнал, что главный надзиратель хотел перевести меня из благонравной комнаты; он потребовал аттестаты всех учителей и надзирателей; но везде стояло: *примерного поведения и прилежания, отличный в успехах*, и Камашев оставил меня на прежнем месте. Во все время первого пребывания моего в гимназии он часто осматривал в классах мои книги и тетради, заставлял учителей спрашивать меня при себе и нередко придирался ко мне из пустяков, а надзирателям приказывал, чтобы заставляли меня играть вместе с воспитанниками, прибавляя, что он не любит *тихоней и особняков*. Теперь я понимаю, что такое замечание иногда бывает верно; но ко мне оно вовсе не шло и только умножало мое справедливое раздражение. Упадышевский нежно любил меня и, с заботливостью матери, всякий день осматривал мое платье и постель, чистоту рук, тетрадей и книг; он часто твердил мне, чтобы я всегда смотрел в глаза Николаю Иванычу и ничего не возражал на его замечания и выговоры; из любви к старику, я исполнял в точности его наставления.

Камашев не унимался. По распоряжению гимназического начальства, никто из воспитанников не мог иметь у себя ни своих вещей, ни денег: деньги, если они были, хранились у комнатных надзирателей и употреблялись с разрешения главного надзирателя; покупка съестного и лакомства строго запрещалась; конечно, были злоупотребления, но под большою тайной. В числе других строгостей находилось постановление, чтобы переписка воспитанников с родителями и родственниками производилась через надзирателей: каждый ученик должен был отдать незапечатанное письмо, для отправки на почту, своему комнатному надзирателю, и он имел право прочесть письмо, если воспитанник не пользовался его доверенностью. Это постановление решительно не исполнялось; но Камашев потребовал, чтобы Упадышевский показывал ему мои письма. Скрепя сердце добрый старик, который в каждом моем письме, не читая его, приписывал сам, должен был сделаться моим цензором. Первое прочитанное им письмо привело его в большое затруднение: оно все состояло из описания моего грустного ежедневного состояния, из жалоб на товарищей и даже на учителей, из выражений горячего желания увидеть мать, оставить поскорее противную гимназию и уехать из нее на лето в деревню. Не было ничего предосудительного, но Василий Петрович почувствовал, что в глазах Николая Иваныча каждое мое слово будет виновато, что он найдет тут ропот, обвинение начальства, клевету на учебное заведение и неблагодарность к правительству. Что было ему делать? Открыть мне настоящее

положение дел – ему сначала не хотелось: это значило войти в заговор с мальчиком против своего начальства; он чувствовал даже, что я не пойму его, что не буду уметь написать такого письма, какое мог бы одобрить Камашев; лишить мою мать единственного утешения получать мои душевные письма – по доброте сердца он не мог. – Целые сутки ломал он голову, но ничего не придумал, как сам он после сказывал, и решился, наконец, открыть мне всю истину, решившись в то же время обманывать своего строгого начальника. Таким образом, он заставил меня написать другое письмо, под его диктовку, совершенно официальное, и показал его главному надзирателю, который, разумеется, не мог в нем найти ничего к моему обвинению. Оба письма были отправлены вместе. Вся последующая переписка состояла уже из двойных писем: явных и тайных, даже тогда, когда мой гонитель перестал их читать. Василий Петрович сейчас написал к моей матери, отчего это так делается; письма относил на почту сам Евсеич. Я не умел тогда оценить всю великость самоотвержения, с которым действовал мой благодетель; но мать моя оценила его вполне и написала к Упадышевскому письмо, в котором выражалась самая горячая материнская благодарность. Нечего и говорить, что она хотя не знала вполне гонений Камашева, но была очень ими встревожена.

Дела продолжали идти в прежнем порядке; но со мной случилась перемена, которая для всех должна показаться странною, неестественною, потому что в продолжении полутора месяца я бы должен был привыкнуть к новому образу жизни; я стал задумываться и грустить; потом грусть превратилась в периодическую тоску, наконец, в болезнь. Две причины могли произвести эту печальную перемену: догнав во всех классах моих товарищей, получая обыкновенные, весьма небольшие, уроки, которые я часто выучивал не выходя из класса, я ничем не был занят не только во все время, свободное от ученья, но даже во время классов, – и умственная деятельность мальчика, потеряв существенную пищу, вся обратилась на беспрестанное размышление и рассматриванье своего настоящего положения, на беспрестанное воображение, что делается в его семействе, как тоскует о нем его несчастная мать, и на воспоминание прежней, блаженной деревенской жизни. Я возненавидел в душе противную гимназию, ученье, и решил по-своему, что оно совершенно бесполезно, совсем не нужно и что от него все дети делаются негодными мальчишками. Второю причиною, и, может быть, главнейшею – было несправедливое гонение Камашева. Каждое его появление производило потрясение в моих нервах, а он приезжал всякий день по два раза, и никто не знал времени его приезда. Не было такого часу ни днем, ни ночью, в который бы он когда-нибудь не посещал гимназии, и посещения эти были совершенно неожиданны и внезапны. Теперь я отдаю полную справедливость его неусыпной, хотя слишком строгой и педантической деятельности, но тогда он казался мне тираном, извергом, злым духом, который вырастал как будто из земли даже в таких местах, куда и надзиратели не заглядывали. Его страшный для меня образ поселился в детском моем воображении, и тягостное его присутствие со мной не расставалось. Притом тайные мои письма к матери сделались гораздо короче прежних и писались час от часу с большим стеснением, с большей осторожностью. Я понял, наконец, какое насилие делает Упадышевский своему честному и прямодушному характеру и чем он рискует. – Впоследствии присоединилась и третья причина. В конце марта и в начале апреля солнце начало сильно греть, снег стаял, ручьи побежали по улицам, дохнула весна, и ее дыхание потрясло нервы мальчика, еще бессознательно, но уже страстно любившего природу. Раздражительное действие солнечных весенних лучей на человеческий организм – дело известное. Я живо помню, что в красные дни мне было гораздо тяжелее, чем в пасмурные. Как бы то ни было, только я начал задумываться, или, лучше сказать, переставал обращать внимание на все, меня окружающее, переставал слышать, что говорили другие; без участия учил свои уроки, сказывал их, слушал замечания или похвалы учителей и часто, смотря им прямо в глаза – воображал себя в милом Аксакове, в тихом родительском доме, подле любящей матери; всем казалось это простою рассеянностью. Чтобы живее предаваться мечтам моего воображения, представительная сила которого воз-

растала с каждым днем, я зажмурился глазами и нередко получал толчки от соседей, которые думали, что я сплю. Один раз, в классе русской грамматики, злой мальчишка Рушка закричал: «Аксаков спит!» Учитель, спросив у других учеников, точно ли я спал, и получив утвердительный ответ, едва не поставил меня на колени. Я перестал зажмуривать глаза в классах, но стал чаще под известными предлогами уходить из них, разумеется, сказавши прежде свой урок, и мне иногда удавалось спокойно простоять с четверть часа где-нибудь в углу коридора и помечтать с закрытыми глазами. По окончании послеобеденных классов, после получасового бега в приемной зале, в котором я только по принуждению принимал иногда участие, когда все должны были усесться, каждый за своим столиком у кровати, и твердить урок к завтрашнему дню, я также садился, клал перед собою книгу и, посреди громкого бормотанья твердых вслух уроков, переносился моим воображением все туда же, в обетованный край, в сельский дом на берегу Бугуруслана. Скоро, однако, такое напряженное усилие воображения развилось до таких огромных размеров, что слабый телесный состав не мог их выносить. На меня стала нападать истерическая тоска, сопровождаемая такими тяжелыми слезами и рыданиями, что я впадал на несколько минут в беспамятство; после я узнал, что в продолжение его появлялись у меня на лице судорожные движения. Сначала я умел как-то скрывать мое состояние от всех. Я делал это бессознательно, может быть по тайному чувству угадывая, что мне станут мешать предаваться моим мечтам, которые составляли мою единственную отраду. Тоска почти всегда находила на меня вечером; я чувствовал ее приближение и выбегал через заднее крыльцо на внутренний двор, куда могли ходить все ученики для своих надобностей; иногда я прятался за колонну, иногда притаивался в углу, который образовывался высоким крыльцом, выступавшим из середины здания; иногда взбегал по лестнице наверх и садился в углу сеней второго этажа, слабо освещаемом снизу висящим фонарем. Вероятно, холодный воздух способствовал скорому прекращению припадков, и я возвращался на свое место в обыкновенном своем положении. Но один раз забежал я в незапертые классы, когда сторожа убирали их; сам не знаю, как я забился под скамью одного стола. Мне кажется, этот припадок продолжался долее прежних, может быть оттого, что случился не на свежем воздухе. Сторож заметил меня, хотел выгнать, но, видя, что я ничего не отвечаю, донес надзирателю; тот узнал меня и сказал Упадышевскому. Встревоженный старик прибежал ко мне наверх, но в самую эту минуту я очнулся и спокойно воротился с ним в свою комнату. До этого случая Упадышевский, обнадеженный моим почти двухмесячным пребыванием, моим прилежным учением, хотя и замечал мою рассеянность или задумчивость, но не придавал ей никакого особенного значения. Тут он расспросил меня подробно. Я рассказал ему с полною откровенностью все то, что знал о своем состоянии; но я многого не понимал и многого не помнил. В продолжение ночи он сам и мой дядька Евсеич наблюдали за мной; я проспал до утра совершенно спокойно. Надобно заметить, что в продолжение всего первого периода моей болезни все ночи я спал хорошо; упоминаю об этом потому, что во втором периоде болезнь взяла совершенно противоположный характер. На другой день поутру, по обыкновению, приехал Бенис в больницу, куда и был я приведен Упадышевским. Доктор расспросил и осмотрел меня внимательно, нашел, что я несколько похудел, побледнел и что пульс у меня расстроен, но отпустил в класс, не предписал никакого лекарства, запретил изнурять меня ученьем, – не веря моим словам, что оно слишком легко, – приказал наблюдать за мной и никуда одного не пускать. Он прибавил к этому, чтобы всякий день, во время его приезда в больницу, я приходил к нему. Упадышевский принял все нужные меры: кроме того, что он сам беспрестанно подходил ко мне, он поручил двум воспитанникам постоянно смотреть за мной во всякое время, свободное от ученья; дядька же мой должен был идти со мной всякий раз, когда я выходил на задний двор. Во всей гимназии разнесся слух, что «на Аксакова находит черная немочь». Я испугался, хотя не понимал значения этих слов. – Мне показалось очень неприятно такое постоянное внимание посторонних людей к каждому моему движению; целый вечер мне было скучно и грустно. Я уже привык наслаждаться моими мечтами, а теперь

мысль, что несколько глаз меня наблюдают, мешала мне оторваться от горькой действительности, чтоб грезить наяву сладкими снами; но тем не менее вечер прошел благополучно: ни тоски, ни истерического припадка не было. Упадышевский и дядька мой обрадовались; очень также остался доволен и Бенис, когда я на другой день пришел к нему в больницу и когда Василий Петрович рассказал, что весь вчерашний день, вечер и ночь я провел спокойно. Несмотря на то, что доктор нашел мой пульс также расстроенным, он отпустил меня без всяких медицинских пособий, уверяя, что дело поправится и что натура преодолет болезненное начало; но на другой день оказалось, что дело не поправилось, а только изменилось; часу в девятом утра, сидя в арифметическом классе, вдруг я почувствовал, совершенно неожиданно, сильное стеснение в груди, через несколько минут зарыдал, упал и впал в беспамятство. Сделался большой шум, послали за Упадышевским; по счастью, он был дома<sup>11</sup> и приказал перенести меня в спальную, где я через четверть часа очутился и даже воротился в класс. Вечером припадок повторился и продолжался гораздо долее. Больше прежнего встревожился благодетельный Василий Петрович и перепугался мой усердный дядька. На этот раз Бенис дал мне какие-то капли (вероятно, нервные), которые я должен был принимать, как только почувствую стеснение; по постным дням приказал давать мне скоромный обед из больницы и вместо черного хлеба булку, но оставить в больнице ни за что не согласился. Капли сначала помогли мне, и дня три хотя я начинал тосковать и плакать, но в беспамятство не впадал; потом, по привычке ли моей натуры к лекарству, или по усилению болезни, только припадки стали возвращаться чаще и сильнее прежнего.

Никакой период моего детства не помню я с такою отчетливою ясностью, как время первого пребывания моего в гимназии. Я мог бы безошибочно рассказать со всеми подробностями (чего, конечно, делать не буду) весь ход моего странного недуга. Всем казалось тогда, а в том числе и мне, что появление припадков происходило без всякой причины; но теперь я убежден в противном: они всегда происходили от неожиданно возникавшего воспоминания из прошедшей моей жизни, которая вдруг представлялась моему воображению с живостью и яркостью ночных сновидений. Иногда я доходил до таких явлений сознательно и постепенно, углубляясь в неисчерпаемое хранилище памяти, но иногда они посещали меня без моего ведома и желания. Случалось, что в то время, когда я думал совсем о другом и даже когда был сильно занят ученьем, – вдруг какой-нибудь звук голоса, вероятно, похожий на слышанный мною прежде, полоса солнечного света на окне или стене, точно так освещавшая некогда знакомые, дорогие мне предметы, муха, жужжавшая и бившаяся на стекле окошка, на что я часто засматривался в ребячестве, – мгновенно и на одно мгновение, неуловимо для сознания, вызывали забытое прошедшее и потрясали мои напряженные нервы. Впрочем, некоторые случаи объяснялись тогда же сами собою: один раз я сказывал урок, как вдруг голубь сел на подоконную доску и начал кружиться и ворковать – это сейчас напомнило мне моих любимых голубей и деревню; грудь моя стеснилась, и последовал припадок. В другой раз пришел я напиться квасу или воды в особенную комнату, которая называлась *квасною*; там бросился мне в глаза простой деревянный стол, который прежде, вероятно, я видал много раз, не замечая его, но теперь он был выскоблен заново и казался необыкновенно чистым и белым: в одно мгновение представился мне такого же вида липовый стол, всегда блиставший белизной и гладкостью, принадлежавший некогда моей бабушке, а потом стоявший в комнате у моей тетки, в котором хранились разные безделушки, драгоценные для дитяти: узелки с тыквенными, арбузными и дынными семенами, из которых тетка моя делала чудные корзиночки и подносики, мешочки с рожковыми зернами, с раковыми жерновками, а всего более большой игольник, в котором вместе с иголками хранились крючки для удочек, изредка выдаваемые мне бабушкой; все это, бывало, я рассматривал с

<sup>11</sup> Из четырех человек надзирателей двое дежурных никуда не отлучались, но остальные, во время классов, могли уходить по своим надобностям; к обеду же и ужину все собирались налицо.

восхищением, с напряженным любопытством, едва переводя дыхание... Я был поражен сходством этих столов, прошедшее ярко блеснуло, ожило передо мною, – сердце замерло, и последовал сильный припадок. Точно то же случилось со мной при взгляде на кошку, которая спала, свернувшись клубком на солнышке, и напомнила мне мою любимую кошку в деревне. Мне кажется, довольно этих случаев, чтобы предположить во всех остальных подобные причины.

Положение мое становилось хуже и хуже. Припадки появлялись чаще, продолжались дольше; я потерял аппетит, бледнел и худел с каждым днем; терял также и охоту заниматься учением; один только сон подкреплял меня. Внимательный Василий Петрович заметил, что мне вредно раннее вставанье, попробовал один раз не будить меня до восьми часов и увидел, что я тот день чувствовал себя гораздо лучше. Дядька мой ходил за мной с отцовской нежностью. Камашев пробовал несколько раз говорить мне строгие поучения и даже страшал наказанием, если я не буду держать себя, как следует благовоспитанному мальчику. Мою болезнь называл он баловством, хандрою и дурным примером для других. Наконец, он приказал положительно отдать меня в больницу; этого желали все, и я сам; противился только один Бенис; но теперь он должен был согласиться, и меня отвели в лазарет.

Моя мать, уезжая в последний раз из Казани, заставила моего дядьку Евсеича побожиться перед образом, что он уведомит ее, если я сделаюсь болен. Он давно порывался исполнить свое обещание и открылся в этом Упадышевскому, но тот постоянно его удерживал; теперь же он решился действовать, не спрашиваясь никого: один из грамотных дядек написал ему письмо, в котором без всякой осторожности и даже несправедливо, он извещал, что молодой барин болен падучею болезнью и что его отдали в больницу. Можно себе представить, каким громовым ударом разразилось это письмо над моим отцом и матерью. Письмо шло довольно долго и пришло в деревню во время совершенной распутицы, о которой около Москвы не могут иметь и понятия; дорога прорывалась на каждом шагу, и во всяком долочке была зажора, то есть снег, насыщенный водою; ехать было почти невозможно. Но мать мою ничто удержать не могло; она выехала тот же день в Казань с своей Парашей и молодым мужем ее Федором; ехала день и ночь на переменных крестьянских, неподкованных лошадях,<sup>12</sup> в простых крестьянских санях в одну лошадь; всех саней было четверо: в трех сидело по одному человеку без всякой поклажи, которая вся помещалась на четвертых санях. Только таким образом была какая-нибудь возможность подвигаться шаг за шагом вперед, и то пользуясь морозными утренниками, которые на этот раз продолжались, по счастью, до половины апреля. В десять дней дотащила моя мать до большого села Мурзихи на берегу Камы; здесь вышла уже большая почтовая дорога, крепче уезженная, и потому ехать по ней представлялось более возможности, но зато из Мурзихи надобно было переехать через Каму, чтоб попасть в село Шуран, находящееся, кажется, в восьмидесяти верстах от Казани. Кама еще не прошла, но надулась и посинела; накануне перенесли через нее на руках почту, но в ночь пошел дождь, и никто не соглашался переправить мою мать и ее спутников на другую сторону. Мать моя принуждена была ночевать в Мурзихе; боясь каждой минуты промедления, она сама ходила из дома в дом по деревне и умоляла добрых людей помочь ей, рассказывала свое горе и предлагала в вознаграждение все, что имела. Нашлись добрые и смелые люди, понимавшие материнское сердце, которые обещали ей, что если дождь в ночь уймется и к утру хоть крошечку подмерзнет, то они берутся благополучно доставить ее на ту сторону и возьмут то, что она пожалует им за труды. До самой зари молилась мать моя, стоя в углу на коленях перед образом той избы, где провела ночь. Теплая материнская молитва была услышана: ветер разогнал облака, и к утру мороз высушил дорогу и тонким ледочком затянул лужи. На заре шестеро молодых, рыбаков по промыслу, выросших на Каме и привыкших обходиться с нею во всяких ее видах, каждый с шестом или багром, привязав за спины нетяжелую поклажу, перекрестясь на церковный крест, взяли под руки обеих женщин,

<sup>12</sup> По проселкам, при глубоком снеге, подкованных лошадей в это время года дорога не поднимает.

обутых в мужские сапоги, дали шест Федору, поручив ему тащить *чуман*, то есть широкий лубок, загнутый спереди кверху и привязанный на веревке, взятый на тот случай, что неравно барыня устанет, – и отправились в путь, пустив вперед самого расторопного из своих товарищей для ошупывания дороги. Дорога лежала вкось, и надобно было пройти около трех верст. Переход через огромную реку в такое время так страшен, что только привычный человек может совершить его, не теряя бодрости и присутствия духа. Федор и Параша просто ревели, прощались с белым светом и со всеми родными, и в иных местах надобно было силою заставлять их идти вперед; но мать моя с каждым шагом становилась бодрее и даже веселее. Провожатые поглядывали на нее и приветливо потряхивали головами. Надобно было обходить полыньи, перебираться по сложенным вместе шестам через трещины; мать моя нигде не хотела сесть на чуман, и только тогда, когда дорога, подошед к противоположной стороне, пошла возле самого берега по мелкому месту, когда вся опасность миновалась, она почувствовала слабость; сейчас постлали на чуман меховое одеяло, положили подушки, мать легла на него, как на постель, и почти лишилась чувств: в таком положении дотащили ее до ямского двора в Шуране. Мать моя дала сто рублей своим провожатым, то есть половину своих наличных денег, но честные люди не захотели ими воспользоваться; они взяли по синенькой на брата (по пяти рублей ассигнациями). С изумлением слушая изъявление горячей благодарности и благословения моей матери, они сказали ей на прощанье: «Дай вам бог благополучно доехать» – и немедленно отправились домой, потому что мешкать было некогда: река прошла на другой день. Все это подробно рассказала мне Параша. Из Шурана в двое суток мать моя доехала до Казани, остановилась где-то на постоялом дворе и через полчаса уже была в гимназии.

Обращаюсь назад: в больнице поместили меня очень хорошо; дали особую, небольшую комнату, назначенную для тяжелых больных, которых на ту пору не было; там спал со мною мой дядька, переведенный в больничные служители. Лекарь или подлекарь, хорошенько не знаю, Андрей Иванович Ритгер, жил подле меня. Это был рослый, румяный, красивый и веселый детина; он, впрочем, сидел дома только по утрам, ожидая Бениса, после которого немедленно отправлялся на практику, которую действительно имел в купеческих домах; он был большой гуляка и нередко возвращался домой поздно и в нетрезвом виде. Удивляюсь, как терпел его главный надзиратель; впрочем, на больных он обращал менее внимания, чем на здоровых, и в больнице Упадышевский имел больше весу. Я совершенно забыл имя и фамилию доброго старика, бывшего тогда больничным надзирателем, хотя очень помню, как он был попечителен и ласков ко мне. Упадышевский сейчас позаботился, чтобы мне не было скучно, и снабдил меня книгами: «Детским училищем» в нескольких томах, «Открытием Америки» и «Завоеванием Мексики». Как я обрадовался тишине, спокойствию и книгам! Халат вместо мундира, полная свобода в употреблении времени, отсутствие звонка и чтение были полезнее для меня всяких лекарств и питательной пищи. Колумб и Пизарро возбуждали все мое любопытство, а несчастный Монтесума – все мое участие. Прочитав в несколько дней «Открытие Америки» и «Завоевание Мексики»<sup>13</sup>, я принялся и за «Детское училище». При этом чтении случилось со мной обстоятельство, которое привело меня в великое недоумение и которое я разрешил себе отчасти только впоследствии. Читая, не помню который том, дошел я до сказки «Красавица и Зверь»; с первых строк показалась она мне знакомою и чем далее, тем знакомее; наконец, я убедился, что это была сказка, коротко известная мне под именем: «Аленький цветочек», которую я слышал не один десяток раз в деревне от нашей ключницы Пелагеи. Ключница Пелагея была в своем роде замечательная женщина: очень в молодых годах бежала она, вместе с отцом своим, от прежних господ своих Алакаевых в Астрахань, где прожила с лишком двадцать лет; отец ее скоро умер, она вышла замуж, овдовела, жила внаймах по купеческим

<sup>13</sup> «Завоевание Мексики». – Вероятно, имеется в виду «История о покорении Мексики» испанского поэта и историка Антонио Солиса (1610–1686), перев. с нем. В. Лебедева, в 2-х частях, СПб. 1765.

домам и в том числе у купцов персиян, соскучилась, провела как-то, что она досталась другим господам, именно моему дедушке, господину строгому, но справедливому и доброму, и за год до его смерти явилась из бегов в Аксаково. Дедушка, из уважения к такому добровольному возвращению, принял ее очень милостиво, а как она была проворная баба и на все мастерица, то он полюбил ее и сделал ключницей. Должность ату отправляла она и в Астрахани. Пелагея, кроме досужества в домашнем обиходе, принесла с собою необыкновенное дарование сказывать сказки, которых знала несчетное множество. Очевидно, что жители Востока распространили в Астрахани и между русскими особенную охоту к слушанью и рассказыванью сказок. В обширном сказочном каталоге Пелагеи вместе со всеми русскими сказками находилось множество сказок восточных, и в том числе несколько из «Тысячи и одной ночи». Дедушка обрадовался такому кладу, и как он уже начинал хворать и худо спать, то Пелагея, имевшая еще драгоценную способность не дремать по целым ночам, служила большим утешением больному старику. От этой-то Пелагеи наслушался я сказок в долгие зимние вечера. Образ здоровой, свежей и дородной сказочницы с веретеном в руках за гребнем неизгладимо врезался в мое воображение, и если бы я был живописец, то написал бы ее сию минуту, как живую. Содержанию «Красавица и Зверь», или «Аленький цветочек», суждено было еще раз удивить меня впоследствии. Через несколько лет пришел я в Казанский театр слушать и смотреть оперу «Земира и Азор»<sup>14</sup> – это был опять «Аленький цветочек» даже в самом ходе пьесы и в ее подробностях.

Между тем, несмотря на занимательное чтение, на сладкие, ничем не стесняемые, разговоры с Евсеичем про деревенскую жизнь, удочку, ястребов и голубей, несмотря на удаление от скучного школьного шума и торможенья товарищей, несмотря на множество пилюль, порошков и микстур, глотаемых мною, болезнь моя, сначала как будто уступившая лечению и больничному покою, не уменьшалась, и припадки возобновлялись по несколько раз в день; но меня как-то не смущали они, и сравнительно с прежним я был очень доволен своим положением. Больница помещалась в третьем этаже, окнами на двор. Здание гимназии (теперешний университет) стояло на горе; вид был великолепный: вся нижняя половина города с его Суконными и Татарскими слободами, Булак, огромное озеро Кабан, которого воды сливались весной с разливом Волги, – вся эта живописная панорама расстилалась перед глазами. Я очень помню, как ложились на нее сумерки и как постепенно освещалась она утренней зарей и восходом солнца. Вообще пребывание в больнице оставило во мне навсегда тихое и отрадное воспоминание, хотя никто из товарищей не навещал меня. Приходили только один раз Княжевичи, с которыми, однако, я тогда еще близко не сошелся, потому что мало с ними встречался: они были в средних классах и жили во «французской комнате» у надзирателя Мейснера. Притом я был так занят собою, или, лучше сказать, своим прошедшим, что не чувствовал и не показывал ни малейшего к ним расположения; я подружился с Княжевичами уже во время вторичного моего вступления в гимназию, особенно в университете.

Домой я писал каждую почту, уведомляя, что я совершенно здоров. Вдруг, в один понедельник, не получил я письма от матери. Я встревожился и начал грустить; в следующий понедельник опять нет письма, и тоска овладела мною. Напрасно уверял меня дядька, что теперь распутица, что из Аксакова нельзя проехать в Бугуруслан (уездный город, находящийся в двадцати пяти верстах от нашей деревни), – я ничего не хотел слушать; я хорошо знал и помнил, что, несмотря ни на какое время, каждую неделю ездили на почту. Я не знаю, что бы со мной было, если б и в третий срок я не получил письма; но в середине недели, именно поутру в среду 14 апреля, мой добрый Евсеич, после некоторого приготовления, состоявшего в том, что «верно, потому нет писем, что матушка сама едет, а может быть, и приехала», объявил мне с радостным лицом, что Марья Николаевна здесь, в гимназии, что без доктора ее ко мне

<sup>14</sup> «Земира и Азор». – Текст этой оперы написан французским писателем Жаном Франсуа Мармонтелем (1723–1799), музыка – Гретри; на русском языке вышла в переводе Марии Сушковой (М. 1783).

не пускают и что доктор сейчас приедет. Несмотря на приготовление, мне сделалось дурно. Когда я очнулся, первые мои слова были: «Где маменька?» Но возле меня стоял Бенис и бранил ни в чем не виноватого Евсеича: как бы осторожно ни сказали мне о приезде матери, я не мог бы принять без сильного волнения такого неожиданного и радостного известия, а всякое волнение произвело бы обморок. Доктор был совершенно убежден в необходимости дозволить свидание матери с сыном, особенно когда последний знал уже о ее приезде, но не смел этого сделать без разрешения главного надзирателя или директора; он послал записки к обоим. От директора пришло позволение прежде, и когда мать была уже у меня в комнате, получили приказание от Камашева: «дождаться его приезда». – Не нахожу слов и не беру на себя рассказать, что чувствовал я, когда вошла ко мне моя мать. Она так похудела, что можно было не узнать ее; но радость, что она нашла дитя свое не только живым, но гораздо в лучшем положении, чем ожидала (ибо чего не придумало испуганное воображение матери), – так ярко светилась в ее всегда блестящих глазах, что она могла показаться и здоровою и веселою. Я забыл все, что вокруг меня происходило, обнял свою мать и несколько времени не выпускал ее из моих детских рук. Через несколько минут явился Камашев. Холодно и вежливо он сказал моей матери, что для нее нарушен существующий порядок в гимназии, что никому из родственников и родителей не позволено входить во внутренние комнаты учебного заведения, что для этого назначена особая приемная зала, что вход в больницу совершенно воспрещен и что особенно это неприлично для такой молодой и прекрасной дамы. Кровь бросилась в лицо моей матери, и по своей природной вспыльчивости она много лишнего наговорила Камашеву. Она сказала между прочим, «что верно, только в их гимназии существует такой варварский закон, что матери везде прилично быть, где лежит ее больной сын, и что она здесь с дозволения директора, непосредственного начальника его, г. главного надзирателя, и что ему остается только повиноваться». Мать вонзила нож в самое больное место. Камашев побледнел. Он сказал, что директор дозволил это только для первого раза, что приказание его исполнено, что, вероятно, оно не повторится и что он просит теперь ее уехать... Но Камашев не знал моей матери и вообще не знал материнского сердца. Мать моя сказала ему, что она не выйдет из этой комнаты, покуда директор сам лично или письменно не прикажет ей уехать, и что до той поры только силою можно удалить ее от сына. Все это было сказано таким голосом, с такой энергией, что не оставляло сомнения в точности исполнения. Она взяла стул, пододвинула к моей кровати и села на нем, оборотясь спиной к Камашеву. Не знаю, что бы сделал этот последний, если б Бенис и Упадышевский не упростили его выйти в другую комнату: там доктор, как я узнал после от Василья Петровича, с твердостью сказал главному надзирателю, что если он позволит себе какой-нибудь насильственный поступок, то он не ручается за несчастные последствия и даже за жизнь больного, и что он также боится за мать. Упадышевский, с своей стороны, умолял пощадить бедную женщину, которая в отчаянии не помнит себя, а всего более пощадить больного мальчика, и обещал ему, что он уговорит мать мою уехать через несколько времени. Камашев весьма неохотно согласился и вместе с Бенисом отправился для донесения обо всем директору. Упадышевский воротился к моей матери, старался ее успокоить и сказал, что она может остаться у меня часа на два. Мать пробыла у меня до сумерек, почти до шести часов вечера. Сцена с Камашевым сначала сильно меня испугала, и я начинал уже чувствовать обыкновенное сжатие в груди; но он ушел, и присутствие матери, ее ласки, ее разговоры, радость – не допустили явления припадка. На прощанье мать с твердостью сказала мне, что возьмет меня совсем из гимназии и увезет в деревню. Я совершенно поверил ей. Я привык думать, что маменька может сделать все, что захочет, и счастливая будущность засияла предо мной всеми радужными цветами счастливого прошедшего.

Мать моя отправилась из гимназии прямо к Бенису: его не было дома. Она бросилась (в буквальном смысле) к ногам его жены и, обливаясь слезами, умоляла, чтобы ей возвратили из гимназии сына. Мадам Бенис, понимавшая материнские чувства, приняла живое участие

и уверила ее, что Христиан Карлыч сделает все, что может, что она за него ручается. Доктор скоро приехал. Обе женщины, каждая по-своему, приступили к нему с просьбами, но Бениса убеждать было не нужно; он сказал, что это его собственная мысль, что он уже намекнул об этом директору, но что, по несчастию, вместе с ним был главный надзиратель, который сильно этому воспротивился и, кажется, успел склонить директора на свою сторону; что директор хотя человек слабый, но не злой; что надежда на успех не потеряна. Тут мать рассказала все несправедливые придирки ко мне и постоянное преследование главного надзирателя. Бенис сам не любил его за присвоение власти, ему не принадлежащей; он не только не смягчил раздражения моей матери, но усилил его, и она возненавидела Камашева как лютейшего своего и моего врага. Хозяева поступили с моей матерью, как друзья, как родные: уложили ее на диван и заставили съесть что-нибудь, потому что последние сутки она не пила даже чаю; дали ей какое-то лекарство, а главное уверили ее, что моя болезнь чисто нервная и что в деревне, в своей семье, я скоро совершенно оправлюсь. Решено было вести с главным надзирателем открытую войну. На другой день, поутру, мать моя должна была приехать к директору до приезда к нему Камашева с рапортом, выпросить позволения приезжать ко мне в больницу два раза в день и потом вымолить обещание: отпустить меня в деревню на попечение родителей впредь до выздоровления, если доктор найдет это нужным. Бенис просил только не жаловаться на Камашева, не говорить о нем ничего дурного и не упоминать об его личном нерасположении и преследованиях ее больного сына. Призывая благословение божие на доктора и его жену, высказав им все, что может высказать благодарное материнское сердце, мать уехала отдохнуть на свою квартиру. Отдохновение было ей необходимо: двенадцать дней такой дороги, почти без сна и пищи, и целый день таких душевных мучительных волнений могли свалить с ног и крепкого мужчину, а мать моя была больная женщина. Но бог в немощных являет свою крепость и силу, и, уснув несколько часов, моя мать проснулась бодрою и твердою. В девять часов утра она сидела уже в гостиной директора. Он вышел немедленно и встретил ее с явным предубеждением, которое, однако, скоро прошло. Искренность горя и убедительность слез нашли путь к его сердцу; без большого труда он позволил матери моей приезжать в больницу каждый день по два раза и оставаться до восьми часов вечера; но просьба об увольнении меня из гимназии встретила большое сопротивление. Может быть, и тут слезы и мольбы одержали бы победу, но вдруг вошел главный надзиратель, и сцена переменялась. Директор возвысил голос и с твердостью сказал, что увольнять казенных воспитанников по нездоровью или потому, что они станут тосковать, расставшись с семейством, – дело неслыханное: в первом случае это значит признаться в плохом состоянии врачебных пособий и присмотра за больными, а в последнем – это просто смешно: какой же мальчик, особенно избалованный, привыкший только заниматься детскими играми, не будет тосковать, когда его отдадут в училище? – Камашев сейчас присоединился к директору и поддержал его слова многими весьма рассудительными и в то же время язвительными речами. Он упомянул о вредных следствиях женского воспитания, материнского баловства и дурных примеров неуважения, непокорности, дерзости и неблагодарности. В заключение он сказал, что правительство не затем тратит деньги на жалованье чиновникам и учителям и на содержание казенных воспитанников, чтоб увольнять их до окончания полного курса ученья и, следовательно, не воспользоваться их службою по ученой части; что начальство гимназии особенно должно дорожить таким мальчиком, который по отличным способностям и поведению обещает со временем быть хорошим учителем. – Мать мою взорвала такая иезуитская двуличность; она забыла предостережение Бениса и весьма горячо и неосторожно высказала свое удивление, «что г. Камашев хвалит ее сына, тогда как с самого его вступления он постоянно преследовал бедного мальчика всякими пустыми придирками, незаслуженными выговорами и насмешками, надавал ему разных обидных прозвищ: *плаксы*, *матушкина сына* и проч., которые, разумеется, повторялись всеми учениками; что такое несправедливое гонение г. главного надзирателя было единственною причиною, почему обыкновенная тоска дитяти, разлученного

с семейством, превратилась в болезнь, которая угрожает печальными последствиями; что она признает г. главного надзирателя личным своим врагом, который присвоивает себе власть, ему не принадлежащую, который хотел выгнать ее из больницы, несмотря на позволение директора, и что г. Камашев, как человек пристрастный, не может быть судьей в этом деле». Директор был несколько озадачен; но обозлившийся главный надзиратель возразил ей, «что она сама, по своей безрассудной горячности, портит все дело; что в отсутствие его она пользовалась слабостью начальства, брала сына беспрестанно на дом, беспрестанно приезжала в гимназию, возвращалась с дороги, наконец через два месяца опять приехала, и что, таким образом, не дает возможности мальчику привыкнуть к его новому положению; что причиною его болезни она сама, а не строгое начальство и что настоящий ее приезд наделает много зла, потому что сын ее, который уже выздоравливал, сегодня поутру сделался очень болен». – При этих словах мать моя вскрикнула и упала в обморок. Добродушный директор ужасно перепугался и не знал, что делать. Обморок продолжался около часу; кое-как привели ее в чувство. Первые слова ее были: «Пустите меня к сыну». Перепуганный и сжалившийся директор, обрадованный, что мать моя по крайней мере не умерла (чего он очень опасался, как сам рассказывал после), подтвердил приказание Камашеву, чтобы мою мать всегда пускать в больницу, куда она сейчас и уехала. В больнице встретил ее доктор и по возможности успокоил. Он поклялся, что моя новая болезнь, лихорадка, ничего не значит, что это следствие нервного потрясения и что она даже может быть полезна для моих обыкновенных припадков. В самом деле, первый лихорадочный пароксизм был очень легок, и хотя на другой день он повторился сильнее и хотя лихорадка в таком виде продолжалась две недели, но зато истерические припадки не возвращались. Мать почти целые дни проводила со мной. Директор несколько раз посещал больницу и всякий раз, встречая у меня мать, был с обоими нами очень ласков: ему жалко было смотреть на бледность и худобу моего лица; выразительные черты моей матери, в которых живо высказывалось внутреннее состояние души, также возбуждали его сочувствие. Когда Камашев хотел на другой день войти ко мне в комнату, мать моя непустила его и заперла дверь и потом упросила директора, чтобы главный надзиратель не входил ко мне при ней, говоря, что она не может равнодушно видеть этого человека и боится испугать больного таким же обмороком, какой случился в доме г. директора; он очень его помнил и согласился. Главный надзиратель обиделся и не ходил ко мне совсем.

Между тем намерение взять меня из гимназии, подкрепляемое согласием Бениса, остановленное на время моею новою болезнью, приняло официальный ход. Желая посоветоваться наперед в этом деле с друзьями, мать ездила к Максиму Дмитриевичу Княжевичу, но твердый, несколько грубый, хотя и добрый по природе, серб не одобрил этого намерения. «Нет, государыня моя, Марья Николаевна, – сказал он, – не могу посоветовать взять сынка, завернуть его в хлопочки, нежить и кормить сахаром, увезти в деревню, чтобы он бегал там с дворовыми мальчишками и вырос ни на что не годным неучем. Ну, какой выйдет из него мужчина? Откровенно скажу, что на месте Тимофея Степановича не позволил бы вам так поступать». Не понравились такие слова моей матери; она отвечала, что не думает воспитать своего сына неучем и деревенским повесой, но прежде всего хочет спасти его жизнь и восстановить его здоровье, – и более не видалась с Княжевичем. В Казани был дальний родственник моему отцу, советник палаты Михеев. Мать обратилась к нему, и хотя он также не одобрил намерения и отказался хлопотать об его исполнении, но удовлетворил ее желанию, приказав написать просьбу в совет гимназии о моем увольнении. В просьбе было написано, что моя мать просит возвратить ей сына на время для восстановления его здоровья и что как скоро оно поправится, то она обязуется вновь представить меня в число казенных воспитанников. Вместе с этой просьбой поступило в совет донесение доктора Бениса. Он писал, что находит совершенно необходимым возвратить воспитанника Аксакова в родительский дом, именно в деревню; что моя болезнь такого рода, что только один деревенский воздух и жизнь на родине посреди своего семейства могут победить

ее, что никакие медицинские средства в больнице не помогут, что припадки мои угрожают переходом в эпилепсию, которая может окончиться апоплексией, или повреждением умственных способностей. Не могу сказать, до какой степени было это справедливо; но доктор этим не удовольствовался: он утверждал, что у меня есть какое-то расширение в коленках и горбоватость ножных костей, что для этого также нужно телодвижение на вольном воздухе и продолжительное употребление декокта (какого не помню), которым предлагал снабдить меня из казенной аптеки. Кажется, все последнее было несправедливо; хотя точно я имел очень толстые коленки, но у детей это часто бывает и проходит само собой. Тем не менее такие пустые наружные признаки были найдены впоследствии вполне уважительными. Началось дело в совете, в котором, под председательством директора, присутствовали главный надзиратель и трое старших учителей. Камашев, от которого прежде все зависело, употребил свое влияние, и учителя приняли его сторону. Директор колебался. Хотели дать предписание Бенису, чтоб он пригласил на консилиум инспектора врачебной управы и вновь испытал надо мной медицинские пособия, но Бенис предварительно объявил, что он не исполнит этого предписания и донесет совету, чтоб он скорее уволил меня, потому что, по прошествии лихорадки, сейчас оказались признаки возобновления прежних припадков, что и было совершенно справедливо. – Видя, что дело идет нехорошо, бедная мать моя пришла в совершенное отчаяние. Наконец, Бенис посоветовал ей просить директора, чтоб он приказал при себе освидетельствовать меня гимназическому доктору, вместе с другими посторонними докторами, и чтобы согласился с их мнением, – и мать моя поехала просить директора. Желая избавиться от скучных просьб и слез, он велел сказать, что никак не может принять ее сегодня и просит пожаловать в другое время; но как такой отказ был уже не первый, то мать приготовила письмо, в котором написала, «что это последнее ее посещение, что если он ее не примет, то она не выйдет из его приемной, покуда ее не выгонят, и что, верно, он не поступит так жестоко с несчастной матерью». Делать было нечего. Директор вышел в гостиную и опять не устоял перед выражением истинной скорби и даже отчаяния. Он дал честное слово исполнить все, о чем просила его моя мать, – и сдержал свое слово. На другой же день состоялось определение гимназического совета, совершенно согласное с желанием Бениса и вчерашнею просьбою моей матери, чего, впрочем, никто не знал, кроме самого директора. Все, напротив, считали свидетельство посторонних врачей оскорблением для Бениса и были уверены, что врачи с ним не согласятся. Пригласили городского штаб-лекаря и одного из членов врачебной управы. Но Бенис, предварительно уверенный в их согласии с своим мнением, спокойно дожидался развязки; его уверенность успокоила несколько мою мать, которая в свою очередь старалась успокоить и меня. Она рассказывала мне с величайшей подробностью все свои поступки и все свои переговоры, она старалась уверить меня, что, несмотря на препятствия, надежда на успех ее не покидает; но я только по временам, и то ненадолго, обольщался этой надеждой: освобождение из каменного острога, как я называл гимназию, и возвращение в семейство, в деревню – казалось мне блаженством недостижимым, несбыточным. Переписка с властями о назначении докторов тянулась как-то медленно, и по настоянию главного надзирателя директор приказал выписать меня из больницы, потому что лихорадка моя совершенно прошла. Бенис должен был согласиться. Я опять поступил в комнату к Упадышевскому и нашел кровать свою никем не занятою. После довольно продолжительного пребывания на свободе, в тихой и спокойной больничной комнате, стал еще противнее для меня весь порядок и шумный образ жизни посреди моих гимназических товарищей. Притом такое перемещение показалось мне зловещим признаком, что меня не хотят отпустить. Мать видалась со мной каждый день, но весьма на короткое время, и то в общей приемной зале. Все это вместе нагнало опять тоску на мою душу, и мои припадки появились с прежнею силою, как будто и не прекращались. Благодарение богу, такое мучительное состояние продолжалось недолго. Ровно через неделю, когда воспитанники после ужина сошли в спальные комнаты и начали раздеваться, Евсеич сунул мне в руку, записочку от матери и сказал: «Про-

читите так, чтобы никто не видал». Мать писала ко мне, чтоб на другой день поутру я не вставал с постели, а сказал бы Василью Петровичу, что у меня ломят ноги, особенно колени, и попросился бы в больницу. Записочку приказано было сжечь, что я сейчас исполнил. Ложь была совершенно мне незнакома. Мать особенно строго за нее взysкивала, и я очень изумился такому приказанию. Хотя какая-то темная догадка мелькала у меня в уме, что эта ложь будет способствовать моему освобождению из гимназии, но я долго не мог заснуть, смущаясь, что завтра должен сказать неправду, которую и Василий Петрович и доктор сейчас увидят и уличат меня. На другой день, когда дядька стал меня будить, я сказал ему, что у меня болят ноги и что я хочу опять в больницу. Легкая улыбка искривила рот моего Евсеича, и он пошел доложить о том Упадышевскому, который, к удивлению моему, не обратив на это никакого внимания, весьма равнодушно сказал: «Хорошо; так пусть он не встает, я только провожу детей наверх, а потом приду за ним и отведу его в больницу». – Но товарищи не оставили меня в покое и многие из них, сдергивая с моей головы одеяло, которым я нарочно закрылся, спрашивали меня: «Отчего ты не встаешь?» Смущаясь и краснея, принужден я был солгать еще несколько раз. Со смехом отвечали мне: «Ты врешь; лень учиться, в больнице понравилось!» Шумная ватага мальчиков, построясь в комнатный фронт, ушла наверх. Упадышевский воротился и, не расспросив меня о болезни, отвел в больницу и сдал с рук на руки подлекарю Риттеру и больничному надзирателю. Меня поместили в прежней комнате. В девять часов приехал Бенис и, начав меня осматривать, предупредил словами: «Верно, у вас разболелись ноги? Я этого ожидал», и, указывая подлекарю и надзирателю на мои колени, он прибавил: «Посмотрите, как они в одну неделю распухли и жар в них усилился». Колени мои были совершенно в прежнем положении, жара я не чувствовал и с изумлением заметил, что все как будто сговорились лгать. Еще более изумила меня мать, которая приехала вслед за Бенисом и без всякого смущения рассуждала с ним и с другими о моей новой небывалой болезни. Когда мы остались наедине, я посмотрел на нее с изумлением и спросил: «Маменька, что это значит?» Она обняла меня и сказала: «Что делать, мой друг! это необходимо, так приказал Бенис. На этих днях тебя будут свидетельствовать другие доктора, и ты должен им сказать, что у тебя болят ноги, Христиан Карлыч уверяет, что оттого тебя выпустят из гимназии». Луч надежды блеснул в моей душе, хотя я не видел особенных причин предаваться ей. Через два дня, вечером, сказала мне мать, что завтра будут меня свидетельствовать, повторила мне все, что я должен говорить о болезни своих ног, и убеждала, чтоб я отвечал смело и не запинался. В следующий день, в одиннадцать часов, вошли ко мне в комнату: директор, главный надзиратель, Бенис с двумя неизвестными мне докторами, трое учителей, присутствовавших в совете, и Упадышевский. Небольшая моя комната наполнилась людьми, всем подали кресла, и все торжественно расселись около моей постели. Я так смутился, что мне сейчас начало делаться дурно; впрочем, я скоро оправился без лекарства и услышал, что Бенис рассказывает докторам историю моей болезни, иногда полатыни, но большею частью по-русски; во многом он ссылался на Упадышевского, которого тут же расспрашивали. Призван был также мой дядька, которому было сделано несколько вопросов о состоянии моего здоровья до поступления в гимназию. Меня самого также очень много спрашивали; доктора часто подходили ко мне, щупали мою грудь, живот и пульс, смотрели язык; когда дело дошло до коленок и до ножных костей, то все трое обступили меня, все трое вдруг стали тыкать пальцами в мнимо больные места и заговорили очень серьезно и с одушевлением. Я помню, что часто упоминались слова: «лимфа, пасока, скорбут». Насилу кончилось это тягостное, очень утомившее меня свидетельство; оно продолжалось по крайней мере час. Когда все ушли, я немедленно заснул, а проснувшись, увидел сидящую предо мною мать и простывший больничный обед на столе. Мать моя, хотя надеялась, но решительного еще ничего не знала. Она немедленно уехала к Бенису и часа через два опять приехала ко мне с блистающим радостью лицом: доктора прямо от меня отправились в совет гимназии, где подписали общее свидетельство, в котором было сказано, что «совершенно соглашаясь с мнением г-на доктора

Бениса, они считают необходимым возвратить казенного воспитанника Аксакова на попечение родителей в деревню; а к прописанному для больного декокту полагают нелишним прибавить такие-то медикаменты и предписать впоследствии крепительные холодные ванны». Директор положительно согласился, трое учителей последовали его примеру; но главный надзиратель остался при своем мнении и не подписал журнала;<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Копии со всех бумаг долго у нас хранились.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

## Примечания